

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

рой. Первый. На Юге, в пшеничном краю, там, куда каждое лето Сверху едут лечиться, с женами. Для них необычен и неожиданен этот Секретарь: дельный, открытый, улыбочивый. Не пугат, не партийный звонарь, любит театр и поэзию. Веселый, однако вполне разбирается в негласном уставе партийного этикета: знает, как встретить, как разместить, кому нужен просто почет, а кому с рыбалкой. С ним можно поговорить не только о цифрах, но и о том, с чем обычно не говорят с Первыми. Он симпатичен не одним только Лечащимся, но и тем, кто высок, но уже излечился. Пшеница растет, край расцветает. Мой герой на лучшем партийно-советском счету. Высокоградусней не бывает.

Подчеркну для тех, кто еще не совсем разобрался — всё вышесказанное только фантазия. И не ищите сопоставлений.

Так вот, согласно этой фантазии, моего героя забирают в Москву. В тот самый Дом, чуть поодаль бывшей Ильинки. И возникает то, с чего я, вспомни-

кто властвовал до него. Однако с узилищами, старинными собаками и пулей в затылок. Этот же вдруг оказался совсем не таким, каким он, взошедший на грунт, всегда дававшем однотипные урожаи, назначен был стать.

Он начал ломать жизнь. Да, именно жизнь — так мыслился мне мой сюжет. Выбрасывать рухлядь. Ломать восторги. Корежить заветы. Рубить истоки в суть.

Сперва полегоньку, потом все резвей стал вышвыривать тех, кто хоть и избрал его, но стал противиться каждому новому шагу.

Мой герой убрал страх, освободил искусство. Раскабалил слово. Развязал совесть. Сказал всем: живи, работай, хватит сажать и стрелять! Будь человеком! Откуда это возникло в нем? Не знаю. Тут нужен художник дотошней меня. И пронзительней.

Люди были в восторге. Его встречали овациями. И не только у нас — везде. Он получил все премии Человечества, достиг всех высот признательности и любви. Господствовал в мыслях, книгах, надеждах и предсказаниях.

пичик (как хотел мой герой), а рушится вслед весь дом.

Вот и мечется наша страна между укусом и сахарной пудрой.

И вместе с ней метался и мой герой. То сюда, то туда, лишь бы не ковырнуться с телеги, не выпустить вожжи, не утратить того, до чего дотянул.

Но чем больше он улыбался, чем капитальней был добр, покладистей, лавировал, уступал, тем все скудней делалась его власть. Ее отламывали кусок за куском. Зубами, отбойными молотками, оттесняя все дальше и глубже. И вот он уже не у дел, никчем, не нужен. Ни он, ни его консультанты, машинистки и секретари. Уже все в государстве решается без него, но он по привычке еще говорит, скликает пресс-конференции, что-то указывает, кого-то хватит, кого-то осаживает. Улыбаются той, прежней своей улыбкой, которая пробивала ему дорогу на митингах и в дворцах. Но он уже призрак.

Понимал ли он это? Вот тут-то и загвоздка. С виду он был по-прежнему улыбочив, спокоен — привычка к власти не позволяла дрогнуть, поддаться, обнару-

Из книги «ВОЖДЬ»

те, начал этот рассказ. Бьет час, смыкает очи старый Вождь.

Жил он долго, зажился, все думали, что он вот-вот помрет, однако он жил и жил. И ни на шаг не отпустил от себя врачей, которые точно знают, как возратить сердцу стук, когда уже нет ни стука, ни сердца.

Почил старый вождь. Сошлись на выборы очередного. И произошло внезапное — никому не хотелось, чтобы взмыл вверх человек, с которым он рядом отбаранил всю долгую партийную участь и кто, как и он, тоже, кажется, видел вблизи Ильича и даже однажды пожал ему руку. Сидят и не выбирают, положение — хуже некуда. И вдруг одному из старой когорты, кому действительно в давние годы, кажется, велось повидать Ильича, подваливает идея: а не избрать ли для пробы действительно молодого? Полного сил? Пышущего энергией, скромного? Того, кто хотя и не всегда безупречно стальной и даже, есть данные, заигрывает с народом, но в предначертаниях Партии непреклонен?

Почумели, повздорили, устроили перерыв. А после обеда все-таки выбрали. Того, кто хоть и чуть новомоден, но тверд.

Моего героя.

Да, именно так, сообразно придуманному мной сюжету, все сошлось на нем. И он стал Первым. И только один одурок (из провинциальных) все спрашивал, крутя собеседнику пуговицу на пиджаке:

— А что скажет партия?

Партия, по обычаю, ничего не сказала. Мой герой утвердился. Однако тут грянуло то, чего никто не ждал: вразрез всем мой герой рванул не туда. К изумлению, он, отшагавший весь стопудовый партийный склон от травки до баобаба, воспитанный на чистейших акафистах и канонах, оказался ИСТИННЫМ демократом. Конечно, демократами были все,

Он любил славу, любил успех и принимал овации скромно, но не без понимания, что достоин их. И самое сладкое было для него — толпы слушающих и взывающих, чтобы он говорил. И он говорил.

Шло время, страна выслушивала, но все охотней тяготела к тому обряду, который не смог вконец переломить даже Сталин: скрести в затылке и если делать, то кое-как.

А тем сроком тут же рядом росла поросль, которая тоже была демократами, тоже жаждала послужить народу, выкидывать рухлядь, корчевать и рубить. Также — по вечным законам человеческой сутолоки — жаждавшая славы и власти.

Да, мой герой был умен, вполне образован, во всяком случае на уровне пониманий и знаний, что надобны лицам, занимающим ВЫСОЧАЙШИЙ ПОСТ. Но он, однако, не взял во внимание, что существует нечто мощнее дружбы, подлости, света и темноты, поисков истины, буйства любви. Это — стремление к власти.

Случилось именно то, что множество раз отмечено в прозе и в виршах, власть захлестнула его. Он полоскался и плавал в ней, в потоке ее химер, шифровок и директив. Отпрыск глухой, жестокой системы, но далеко не жесток и не глуп, он спотыкнулся на самом простом, множестве раз проверенном человечеством: кого бы ни возносили люди, сколь восторженно ни стучали в его честь в барабаны, им неизменно, спустя не столь уж долгое время, захочется чего-то другого. Чтобы возник кто-то иной. Кто? Не знаю. Другой. Поострей, поднаторенней. Пусть даже постреляет. Даже повешает. Но другой. Покладистость набивает оскомину, и нужен кто-то повздорней. Пояростней. Понесправедливей.

Это как после торта тянет к горчице.

И именно это тоже не раз отмечено в виршах: выдолбить поначалу, казалось бы, самый малый кир-

жить сомнение, даже испуг. Он только изредка вспыхивал и шумел. Однако уже никто не слушался его шума. По-прежнему вел он страну к сияющей цели. По-старому в его приемной толпились газетчики, стоял круглый стол для приемов, но все меньше и меньше людей восседали вокруг.

Его взор все еще был улыбочат и царственен, но в душе уже билось отчаяние. Его уже поносили в народе, который недавно так обожал его. Ругали в газетных статьях, реках, даже в книгах, но он терпел все. Лишь бы не терять власть.

И мой герой (напомню в который раз, что все это вымысел, этого не было, да и могло ли быть?) стал полегоньку сносить любой плевком, всякое унижение, лишь бы значиться на Холме.

Представьте, и этот пассаж предусмотрело искусство. Да будь оно проклято, наконец!

Герой гнул, терпел, и только, как думаю, в отчаянии спрашивал себя иногда: почему? За что разлюбили меня? Ведь я столько сделал в это страшное время, чтобы всем было спокойно и хорошо.

А все дело в малом: в том, что за долгие годы он многое понял, но упустил, в каком веке живет. А жил он в столетии, когда людей насквозь приучили ко многому: к злобе, обману, бездушью, вероломству. К юркости и глухоте.

Лысый и странный век! Герой мой все еще ходит, спит, ест, мочится, пишет, читает газеты, созывает пресс-конференции, хвалит и порицает, но жизнь уже позади. Она мчит непонятно куда, и он уж гол. Гольный герой!

И значит, настала пора славить другого.

Подобно тому, как настанет эпоха славить третьего, кто сегодня еще вопиет из канавы.

И в последний раз: все это я придумал, но никак не могу придумать конца.